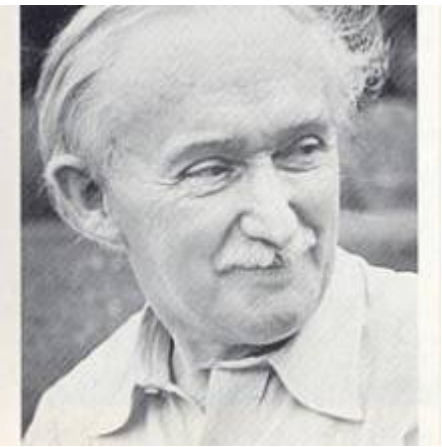
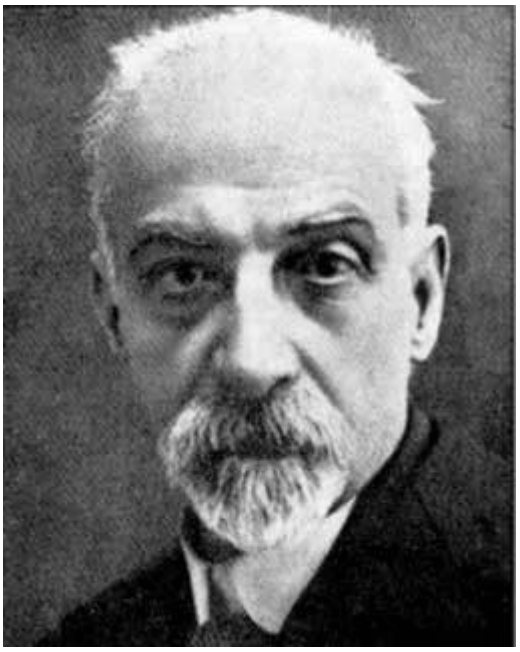
Глава XV

Наступала эпоха анархистского ренессанса — таких ярких вспышек активности движение не помнило с 1887 года; особенно деятельны были американские товарищи. Ещё в 1892 году Сальверио Мерлино начал издавать англоязычную газету Solidarity («Солидарность»): она просуществовала недолго, но в 1894 году выпуск был возобновлён — во многом благодаря притоку молодых сил. С Solidarity сотрудничали Джон Эдельман80, Уильям Оуэн81 , Чарльз Купер82, энергичная профсоюзная активистка Мисс Ван Эттон и многие другие. Начал свою работу клуб общественных наук, где еженедельно читались лекции. Инициативы анархистов заинтересовали местную интеллигенцию и, конечно же, стали мишенью для злобных нападок прессы. Но анархизм оживал не только в Нью-Йорке: так, в штате Орегон, в Портленде группа талантливых активистов издавала еженедельник Firebrand («Смутьян»); в его редакцию, в частности, входили Генри Эддис и семья Исаак. В Бостоне молодой и энергичный товарищ Гарри М. Келли83 организовал кооперативную типографию — там печатался Rebel («Бунтарь»). Немало наших отважных единомышленников — Вольтарина де Клер, Браун84, Перл Мак-Лауд — работали в Филадельфии. Можно сказать, что во всей стране возрождался дух чикагских мучеников. Повсюду будто бы звучала речь Шписа и его товарищей — не только по-английски, но и на языках всех населявших Америку наций.



Гарри Келли



Сальверио Мерлино

«Шапка» The Fireband

Ещё больше местное движение выиграло с приездом двух британских анархистов — Чарльза Моубри и Джона Тернера. Первый приплыл в Америку в 1894 году, освободившись из тюрьмы, и теперь помогал бостонским товарищам. Джон Тернер был по сравнению с ним более образован, и Гарри Келли пригласил его в Штаты читать лекции — почему-то сначала они посещались из рук вон плохо, и мы потратили немало сил, чтобы организовать их в Нью-Йорке. С Джоном и его сестрой Лиззи я познакомилась ещё в Лондоне. Со мной они общались неизменно дружелюбно и тепло. Особенно мне нравилось говорить с Джоном: он много знал об английских общественных движениях, к тому же сам тесно сотрудничал с профсоюзами и кооперативами. Он помогал социалистической газете Commonweal («Общее благо»), которую основал Уильям Моррис85 . Но большую часть сил Джон отдавал пропаганде анархизма. С приездом Тернера мне представилась отличная возможность отточить свой английский — я часто была председателем на его митингах.

В то время бурно протекала кампания за свободную чеканку серебряных монет; предложение бесплатно чеканить серебро в соотношении 16:1 к золоту захватило умы по всей стране за одну ночь. Масла в огонь подлило проникновенное выступление Уильяма Дженнингса Брайана86 , кандидата в президенты, перед делегатами съезда Демократической партии — он переманил их на свою сторону фразой, мгновенно разошедшейся в цитатах: «Вы не натянете на лоб рабочего терновый венец, вы не распнёте

человечество на золотом кресте». Так оратор с «серебряным языком» заполучил поддержку людей с улицы. Американские либералы, столь падкие на новые политические технологии, единодушно поддержали мнение Брайана по вопросу свободного серебра, его речи увлекли даже некоторых анархистов. Как-то в Нью-Йорк приехал известный чикагский товарищ Джордж Шиллинг — он собирался примкнуть к крылу восточных радикалов. Шиллинг был ярым последователем Бенджамина Такера — лидера индивидуалистской школы анархизма — и писал для его газеты Liberty («Вольность»). Вместе с тем он ближе, чем Такер, общался с рабочими активистами и мыслил революционнее своего учителя. Джордж мечтал о пробуждении народных масс Штатов и надеялся, что вопрос свободного серебра подкосит монополию и государство. Пресса то и дело с гневом накидывалась на Брайана, и вскоре Джордж и многие другие стали считать его мучеником. В газетах Брайана называли «инструментом в кровавых руках анархиста Альтгельда и революционера Юджина Дебса87».

Я не разделяла всеобщего энтузиазма по поводу Брайана отчасти потому, что не верила, будто политический механизм может кардинально поменять положение дел, но прежде всего меня вела интуиция — она подсказывала, что Брайан не тот, кем хочет казаться. Я почувствовала, что его основная цель — пробраться в Белый дом, а вовсе не «сорвать цепи» с людей, и решила держаться от него подальше. Неискренность Брайана была для меня очевидна, доверять ему было нельзя. За моё предубеждение я подверглась атаке с двух сторон, причём в один день. Сперва Шиллинг стал уговаривать меня присоединиться к кампании за свободную чеканку серебра. «Что вы, жители Востока, станете делать, когда Запад двинется на вас революцией? — спросил он меня при встрече. — Будете продолжать демагогию или всё же примкнёте к нам?» Шиллинг уверял меня, что имя Эммы Гольдман на Западе широко известно — я могла бы стать значимой фигурой в борьбе за освобождение народных масс. Джордж без устали рисовал мне радужные картины будущего, но всё же не переубедил меня. Мы разошлись на дружеской ноте, но Джордж сокрушённо качал головой: его удручало моё беспечное отношение к грядущей революции.

Вечером к нам пришёл гость — Джон Мак-Лаки, бывший член хоумстедского муниципалитета. Я хорошо помнила его и ценила за солидарность с рабочим классом: во время забастовки на сталелитейном заводе он решительно выступил против привлечения штрейкбрехеров. Мне очень нравился этот парень — крупный, но лёгкий на подъём, типичный старый демократ джефферсоновских времён. Джон сказал, что его попросила встретиться со мной Вольтарина: дело касалось Саши. Когда-то Мак-Лаки пришёл к ней, чтобы убедить, будто Саши в Западной тюрьме нет. Джон, как и многие в Хоумстеде, верил, что Беркман не собирался убивать — истинной целью его акта было пробудить в публике сочувствие к Фрику. Он подозревал, что огромный срок, назначенный пенсильванским судом, был всего лишь уловкой для доверчивой общественности. Хоумстедские рабочие не сомневались: Беркмана давным-давно выпустили из тюрьмы… Вольтарина показала Мак-Лаки материалы, которые рушили эту стройную теорию, а за дополнительными доказательствами отправила ко мне.

Джон Маклаки

Я слушала Джона и не могла поверить: неужели кто-то в здравом уме верит в такую чепуху? Саша пожертвовал своей молодостью и вот уже шестой год сидит в тюрьме; он прошёл через карцер, одиночную камеру, телесные наказания… Жестокость тюремной администрации довела его до попытки самоубийства. И теперь в нём сомневаются те самые люди, ради счастья которых он готов отдать жизнь — как это нелепо, жутко! Я принесла из своей комнаты Сашины письма и протянула их Мак-Лаки. «Читай! — сказала я. — А когда прочитаешь, ответь — была ли хоть малая толика правды в твоих россказнях».

Джон взял письмо из стопки, внимательно прочёл, просмотрел несколько других… Внезапно он протянул мне руку. «Эмма, дорогая, какая же ты храбрая, — сказал он. — Прости, мне ужасно жаль, что я зря подозревал такого человека». Мак-Лаки заверил меня, что целиком осознал, как они с товарищами заблуждались. «Можешь рассчитывать на мою помощь, — с чувством добавил он. — Вместе мы вытащим Беркмана из тюрьмы!» Дальше речь зашла о Брайане: Джон полагал, что кампания за свободное серебро — редкий шанс помочь Саше, и мне следовало бы присоединиться к ней. Так я смогу сблизиться с видными политиками-демократами, чтобы потом обратиться к ним за поддержкой в пересмотре Сашиного дела. - Мак-Лаки высказал готовность встретиться с лидерами самому — всё получится, если я дам согласие на сотрудничество. Джон добавил, что мне не придётся заниматься практической стороной дела: все хлопоты он берёт на себя. Разумеется, за участие полагался щедрый гонорар.

Честный и порядочный Мак-Лаки понимал мои идеи упрощённо, едва ли не по-детски, но я чувствовала к нему искреннее расположение — он так рвался помочь Саше! И всё же я отказалась пойти на мировую с Брайаном. Мне было ясно, что союз с рабочими для него — лишь одна из ступенек на пути к власти.

Мой гость не обиделся, хотя его, безусловно, расстроила моя непрактичность. Уходя, он пообещал просветить хоумстедских рабочих касательно дела Беркмана.

Вместе с Эдом и парой близких друзей я пыталась нащупать источник ужасных слухов о Саше. Единственно верной мне казалась догадка, что всё дело в позиции Моста — я ещё помнила, как широко использовалось в прессе его выражение про «игрушечный пистолет». Иоганн Мост! В череде жизненных ударов я почти забыла о нём. Горечь от предательского выпада Моста в Сашин адрес со временем сменилась банальным разочарованием в нём.

Нанесённая им рана затянулась, но остался болезненный шрам — визит Мак-Лаки разбередил былые воспоминания.

В спорах с Шиллингом и Мак-Лаки я невольно открыла для себя новое обширное поле деятельности. То, что я делала раньше, было лишь первыми шагами на пути помощи движению. Теперь я отправлюсь в лекционный тур, изучу страну и людей, войду в ритм американской жизни… Мне нужно рассказать массам о новом общественном идеале. Хотелось начать работу тотчас же, но сперва требовалось серьёзно улучшить свой английский и накопить денег: я не хотела брать в долг у товарищей или назначать плату за лекции. Пока можно было заниматься активистской деятельностью и в Нью-Йорке.

Будущее виделось мне несказанно прекрасным, но чем лучше было моё настроение, тем явственнее угасал интерес Эда ко мне. Я давно заметила, как его раздражает, когда я нахожусь вдали от него, не забылись и наши разногласия по женскому вопросу. За исключением этих моментов Эд всегда поддерживал меня на пути к очередным целям. Но сейчас он мрачнел на глазах: ходил с недовольным видом, критиковал любую мою работу. Часто, вернувшись домой с позднего митинга, я видела, что Эд не в духе — холодно молчит, нервно раскачивает ногой… Так хотелось подойти к нему, поделиться своими мыслями, планами, но этот укоризненный взгляд вгонял меня в ступор. Я нетерпеливо ждала Эда у себя в комнате, но он всё не входил, а потом я слышала, как он тяжело опускается на постель. Я страдала всей душой, ведь я так сильно его любила! Кроме интереса к движению и Саши, страсть к Эду оставалась единственным, что было для меня важно.

Я по-прежнему питала нежные чувства к Феде — тем более что я была по-настоящему нужна ему. Вернувшись из Европы, я обнаружила в нём разительные перемены. Да, он профессионально вырос и зарабатывал немалые деньги, но был так же щедр ко мне, как и в прежние нищие времена: регулярно слал переводы в Вену, помогал обустроить новую квартиру. Однако я быстро поняла, что движение больше неинтересно Феде. Теперь он вращался в иных кругах, посвящал себя новым интересам: его увлекли художественные аукционы и распродажи, где он проводил всё свободное время. Он так долго стремился к красоте, что сейчас, будучи обеспеченным художником, хотел насладиться ей сполна. Его огромной страстью стали студии: едва он обставлял одну изящнейшими вещицами, как через пару месяцев менял её на другую, которую украшал по новой, портьерами, вазами, холстами, коврами… Все красивые вещи в нашу квартиру перекочевали из его мастерских. Меня терзала мысль, что Федя настолько отдалится от былых интересов, что перестанет помогать движению деньгами. Впрочем, он никогда не был скуп, и его щедрость в новом положении не удивляла меня. Настораживало то, каких друзей теперь выбирал для себя Федя. Почти все они были газетчиками; для них, распутных и циничных, смысл жизни заключался прежде всего в женщинах и попойках. Увы, они потянули за собой и Федю; было больно смотреть, как мой друг-идеалист свернул на путь людей неумных и беспечных. Саша всегда говорил, что социальная борьба для Феди — лишь преходящий жизненный этап, но мне хотелось верить, что в таком случае он безоговорочно посвятит себя искусству. Неожиданное стремление Феди к пустым удовольствиям вводило в недоумение — он был слишком прекрасен душой для них. К счастью, он продолжал тесно общаться с нами. Федя безмерно уважал Эда, а его любовь ко мне — пусть и не такая всепоглощающая, как прежде, — всё ещё была в силах отражать удары дурного влияния новых друзей.

Федя часто навещал нас. Однажды он попросил меня попозировать для наброска пером, который пообещал нарисовать Эду. Во время сеансов я думала о нашем общем прошлом, о нашей нежной любви — пожалуй, даже слишком нежной, чтобы она сохранялась вместе со страстью к Эду; судя по всему, Федина любовь отступала перед моей непокорной натурой, которая ставила перед ней немало преград. Федя всё ещё привлекал меня, но страстно желала я только Эда — он зажигал мою кровь, лишь его прикосновения пьянили, приводили в восторг… Внезапная перемена в нём была слишком унизительна, чтобы смириться с ней. Федя рассказал мне, что Эд очень хвалил его за прекрасный набросок, отражавший мой характер. Однако при мне Эд не проронил ни слова по этому поводу.

И однажды вечером Эд сорвался. «Ты отдаляешься от меня! — запальчиво воскликнул он. — Я больше не верю, что мы будем жить в любви и согласии. Ты потратила год в Вене, чтобы получить профессию, а теперь тебе наплевать на неё — думаешь только о своих дурацких митингах! Тебе безразлично, чего хочу я. А твой интерес к движению, за которое ты готова умереть, — обычное тщеславие, ты просто хочешь известности и внимания толпы. Ты не способна на глубокое чувство. Ты никогда не понимала и не ценила любовь, которую я дарил тебе. Я ждал, ждал, что ты изменишься, но теперь вижу, что без толку. Я не стану делить тебя с кем-то или с чем-то. Придётся тебе сделать выбор!» Он метался по комнате, как тигр в клетке, время от времени бросая на меня уничтожающие взгляды. Всё, что накопилось у него внутри за эти недели, сейчас вырывалось бурным потоком обвинений и упрёков.

Я остолбенела. Старое знакомое требование — «сделать выбор» — эхом отдавалось у меня в ушах. Эд, мой идеал, оказался таким же, как все. Он был готов заставить меня отречься от моих интересов и движения ради любви к нему. Мост не раз выдвигал мне такой ультиматум. Я уставилась на Эда, не в состоянии заговорить или двинуться, а он в безумной ярости продолжал мерить комнату шагами. Наконец он взял пальто, шляпу и вышел.

Несколько часов я сидела в оцепенении; внезапно раздался настойчивый звонок в дверь. За мной послали от роженицы. Я схватила сумку, которую держала наготове уже несколько недель, и отправилась вслед за своим визитёром.

Мы пришли в доходный дом на Хьюстон-стрит; там, на шестом этаже, в двухкомнатной квартире корчилась от родовых болей молодая женщина, рядом спали трое детей. Газовой горелки не было — пришлось греть воду над керосиновой лампой. Я попросила мужа принести простынь, немало его этим озадачив. Была пятница. Оказалось, что жена стирала в понедельник, и всё постельное бельё уже несвежее. Он предложил мне скатерть — её только постелили к шаббату. «Хотя бы пелёнки вы приготовили?» — спросила я. Мужчина не знал. Женщина указала на свёрток, где нашлось несколько разорванных рубашек, бинты и какие-то лохмотья. Из каждого угла кричала ужасающая бедность.

Я подготовила скатерть и пелёнку для малыша. Это был мой первый частный вызов; общую нервозность усугублял шок от срыва Эда. Но я взяла себя в руки и вся погрузилась в работу. Поздним утром благодаря мне в этот мир вошла новая жизнь. А накануне вечером умерла часть моей собственной жизни.

Целую неделю горе от ухода Эда мне удавалось притупить работой. Я заботилась о нескольких пациентах, помогала на операциях доктору Уайту — на страдания времени попросту не было. Вечерами я была занята на митингах в Ньюарке, Патерсоне и других близлежащих городах. Но по ночам я оставалась в квартире одна, и сцена с Эдом вновь вставала перед глазами и мучила меня. Я знала, что он меня любит, но не могла принять, что он ушёл вот так, а теперь долго не возвращается и не даёт знать о себе. Я не могла примириться с любовью, которая отказывает любимой в праве на себя, которая процветает только за счёт любящего. Мне казалось, что я не смогу жить с Эдом дальше, но в следующую минуту уже оказывалась в его комнате и утыкалась горящим лицом в подушку… Сердце ныло от тоски по нему. Через две недели страсть окончательно сломила мою гордость: я написала Эду на работу, умоляя его вернуться.

Он пришёл сразу. Прижимая меня к сердцу, смеясь и плача, он восклицал: «Ты сильнее меня; я скучал по тебе каждую минуту с тех пор, как захлопнул дверь. Каждый день я собирался вернуться, но страшно боялся. Все ночи напролёт бродил вокруг дома, как привидение. Я хотел зайти и молить тебя о прощении. Я даже пошёл на вокзал, когда узнал, что ты едешь в Ньюарк и Патерсон. Было невыносимо знать, что ты одна дома. Но я боялся, что ты выгонишь меня прочь. Да, ты храбрее, сильнее, правдивее. Все женщины такие. А мужчина — глупое, чопорное создание! Женщины сохранили в себе первобытные инстинкты, природное естество».

Мы снова жили вместе, но теперь я меньше занималась общественной работой: частично из-за акушерских вызовов, но главным образом — из-за решимости посвятить себя Эду. Шли недели, но тихий голос внутри меня продолжал нашёптывать, что окончательный разрыв только временно отсрочен. Я отчаянно хваталась за Эда и его любовь, чтобы отогнать надвигающийся конец.

Работа акушерки приносила не так уж много денег — меня приглашали только самые бедные иммигранты. Те, что поднялись по лестнице «американской мечты», утратили естественность и привычки бедных времён; они, как и американки, вызывали на роды докторов. Акушерка могла помочь далеко не всегда: в экстренных случаях приходилось обращаться к врачу. Я брала за визит не больше десяти долларов, но многие женщины не могли заплатить даже такую скромную сумму. Да, работа не сулила мне золотых гор, но предоставляла прекрасную возможность набраться опыта. Я напрямую общалась с теми людьми, которым стремилось помочь наше движение, воочию, а не с чужих слов узнала, как живут рабочие. Их вялая покорность судьбе, убогая обстановка домов помогли мне осознать, какую колоссальную работу ещё предстоит проделать, чтобы добиться поставленных целей.

Сильнее прочего меня поражала яростная, слепая борьба женщин из бедноты с частыми беременностями. Большинство из них жили в постоянном страхе перед зачатием; огромное количество замужних женщин беспомощно покорялось натиску мужей, а потом они с прямо противоположной решительностью избавлялись от плода. Каких только фантастических методов не изобретало отчаяние: прыжки со стола, массирование живота, приём тошнотворных смесей, «операции» затупленными инструментами… Обычно это заканчивалось самым плачевным образом. Женщин можно было понять: когда у тебя и без

того целый выводок детей — намного больше, чем позволяет прокормить отцовская зарплата, — каждый новый ребёнок становится «проклятием Господним»: такие слова мне не раз приходилось слышать от ортодоксальных евреек и католичек из Ирландии. Мужчины обычно воспринимали беременность спокойнее, но женщины вовсю бранили небеса за жестокость. Во время схваток многие предавали анафеме Бога и своих мужей. «Уберите его! — кричала одна моя пациентка. — Не подпускайте эту тварь ко мне, а то я его убью!» Это истерзанное создание было матерью восьмерых детей, четверо из которых умерли в младенчестве, остальные имели болезненный вид и явно недоедали — равно как и большинство нежеланных, запущенных детей, которые путались у меня под ногами, когда я помогала очередному несчастному увидеть свет.

После таких родов я приходила домой больной и расстроенной. Я ненавидела мужчин, единственных виновников ужасающих мук их жён и детей, но ещё больше ненавидела себя за то, что не знала, как могу помочь. Конечно, я умела делать аборты. Многие вызывали меня именно для этого, даже падали на колени, моля о помощи — «ради маленьких бедняжек, которые уже родились». Они знали, что некоторые доктора и акушерки вытравливают плод, но за запредельную цену — может, я по доброте душевной сделаю им рассрочку? Тщетно было объяснять, что мне неважны деньги, и я прежде всего забочусь об их жизни и здоровье. Я рассказывала, как одна женщина умерла от подобной операции, оставив детей сиротами. Но мои пациентки признавались, что предпочли бы умереть: городские власти в любом случае позаботятся об их потомстве и обеспечат ему сытую жизнь.

Я всё же не сумела заставить себя делать эту желанную операцию — прежде всего, из-за сомнения в своих навыках, но к тому же я помнила, как профессор в Вене демонстрировал нам ужасные последствия абортов. Он говорил, что даже успешно проведённый аборт подрывает здоровье пациентки — на это я пойти не могла. Мной руководили не моральные размышления о святости жизни — жизнь нежеланная или приговорённая к жалкой нищете не казалась мне святой. Но мои общественные интересы охватывали весь социальный вопрос, а не только отдельный его аспект, и я не стала бы рисковать свободой ради одной части человеческой борьбы. Я отказывалась делать аборты, но не знала никаких методов, чтобы женщины могли избежать зачатия.

Я поговорила на эту тему с несколькими врачами. Консерватор Уайт сказал: «Бедняки должны винить только себя, они слишком часто удовлетворяют желание». А Юлиус Хоффман был уверен, что дети для них — единственная радость. Золотарёв надеялся, что всё изменится к лучшему, когда женщины станут более разумными и независимыми — «будут чаще пользоваться мозгами, чем детородными органами». Последний аргумент казался убедительнее прочих, но не успокаивал; никакой практической пользы из него извлечь было нельзя. Теперь я сама увидела, что женщины и дети несут самый тяжёлый груз в нашей беспощадной экономической системе. Это издевательство — уговаривать их дожидаться социальной революции, которая уничтожит несправедливость. Мне нужно было найти быстрый рецепт от страданий, но ничего годного не попадалось.

Дома дела обстояли далеко не благополучно, хотя со стороны казалось, что всё идёт гладко. Эд снова был спокоен и доволен, но расшатались мои нервы. Если приходилось

задерживаться на митинге дольше обычного, мне тут же становилось не по себе, и я в смятении неслась домой. Часто я отвергала поступавшие предложения на чтение лекций, боясь, что снова расстрою Эда. Когда же отказать было невозможно, я просиживала над одной темой неделями — все мысли занимал Эд, а не грядущее выступление. Я то и дело спрашивала себя, понравился бы ему этот вопрос или аргумент, но никогда не могла пересилить смущение и зачитать Эду свои наброски. Если он приходил на митинги, я вела себя скованно, потому что знала — он не верит в мою работу. В итоге я сама начала терять веру в себя. Неизвестно откуда появились странные нервные припадки. Без видимых причин я падала на землю, меня будто сбивало с ног тяжёлым ударом. При этом я оставалась в сознании, понимала всё происходящее вокруг, но не могла вымолвить ни слова. Меня всю трясло, в горле стоял ком, ноги мучительно болели — мои мышцы словно разрывались на части. В таком состоянии я могла пробыть от десяти минут до часа, и потом чувствовала себя измотанной до предела. Золотарёв не смог поставить диагноз и отвёл меня к специалисту, который оказался немногим толковее. Осмотр доктора Уайта тоже не показал никаких патологий. Одни говорили, что это истерия, другие твердили о вывороте матки. Я знала, что дело во втором, но так и не соглашалась на операцию. Всё больше и больше я убеждалась, что у меня никогда не получится долго прожить в любви и согласии. Раздоры, а не покой — мой удел. В такой жизни нет места ребёнку.

Со всех концов страны приходили новые и новые запросы на проведение лекций. Мне очень хотелось поехать, но недоставало храбрости поговорить с Эдом. Я знала, что он не согласится, и отказ только приблизит нас к болезненному расставанию. Врачи настойчиво советовали мне отдохнуть и сменить обстановку, и тут Эд удивил меня — он сам настаивал на моём отъезде. «Твоё здоровье превыше всего, — сказал он. — Но сперва тебе нужно избавиться от дурацкой мысли, что ты должна зарабатывать сама». К тому времени он получал уже достаточно, чтобы прокормить нас двоих. Эд утверждал, что только обрадуется, если я брошу сестринское дело: тогда я наконец перестану терзать себе нервы из-за чужого несчастного потомства. Он был готов заботиться обо мне столько, сколько потребуется для полной поправки, а там можно будет подумать и о туре, раз я так этого хочу. Эд понимал, каких усилий мне стоит играть добродетельную жену; ему нравился уют, который я создавала для него, но он видел и моё растущее недовольство. Смена обстановки, полагал Эд, должна была пойти мне на пользу, вернуть былой задор и наладить наши отношения.

Следующие недели прошли в восхитительном спокойствии. Мы много времени проводили вместе: часто выезжали за город, ходили на концерты, в оперу… Мы снова стали читать вдвоём; Эд помог мне понять Расина, Корнеля, Мольера. Ему нравились только классики — Золя и прочих современников он не признавал. Но днём я оставалась одна и баловала себя современной литературой, попеременно занимаясь подготовкой лекций для будущего тура.

Примерно в то же время до Америки дошли слухи о пытках в испанской тюрьме Монжуик. В 1896 году триста мужчин и женщин — профсоюзные активисты и небольшая группка анархистов — были арестованы; их обвиняли в подготовке взрыва бомбы в Барселоне во время религиозной процессии. Весь мир был ошеломлён: в те дни на испанской земле будто бы возродилась инквизиция. Чтобы вытянуть признание из несчастных узников, использовались воистину дьявольские методы: их держали без еды и воды, подвергали

жесточайшим поркам, прижигали горячим металлом… Одному заключённому даже вырезали язык. Многие тронулись рассудком и в бреду звали невиновных товарищей — тех немедленно приговорили к смерти. Вскоре за эти ужасы призвали к ответу премьер-министра Испании, Кановаса дель Кастильо. Либеральные европейские газеты, такие как Frankfurter Zeitung и Paris Intransigeant, настраивали общественность против «новой инквизиции». Члены Палаты общин, Рейхстага и Палаты депутатов призывали остановить Кановаса. Лишь Америка молчала. Какие-то сведения просочились только в радикальную прессу. Мы с друзьями чувствовали, что эту стену пора пробить. Я, Эд, Юстус, Джон Эдельман и Гарри Келли решили объединиться с итальянскими и испанскими анархистами и организовать кампанию в защиту этих заключённых. Начать её мы хотели с большого массового митинга; далее планировалась демонстрация перед испанским консульством в Нью-Йорке. Едва наша затея получила публичную огласку, реакционные газеты стали взывать к властям — пора остановить Красную Эмму! Это прозвище пристало ко мне с митинга на Юнион-сквер. В день собрания полиция заполонила всё вокруг — стражи порядка стояли даже на трибуне, так что ораторы не могли и рукой махнуть, не задев при этом офицера. В своём выступлении я подробно рассказала об ужасах Монжуика и призвала слушателей подняться на борьбу с ними.

Публика, так долго вынужденно сдерживавшая свои эмоции, разразилась оглушительными аплодисментами. Они ещё не стихли, когда с галёрки раздался чей-то голос: «Мисс Гольдман, вы не думаете, что стоит убить кого-нибудь из посольства Испании в Вашингтоне или из дипломатической миссии в Нью-Йорке в отместку за Монжуик?» Интуиция подсказывала мне, что вопрос задал сыщик, который хочет заманить меня в ловушку. Рядом зашевелились полицейские, будто бы готовясь схватить меня. Повисло напряжённое молчание. Я выдержала паузу и спокойно ответила: «Нет, я не думаю, что испанские дипломаты в Америке такие уж значительные фигуры, чтобы их убивать. Но если бы я сейчас оказалась в Испании, то убила бы Кановаса дель Кастильо».

Через пару недель пришли новости, что Кановас дель Кастильо застрелен — анархистом по имени Микеле Анджиолилло. Нью-йоркская пресса тотчас же устроила настоящую охоту за видными анархистами, пытаясь получить от них комментарии о самом Анджиолилло и его поступке. Журналисты днём и ночью донимали меня просьбами об интервью — знаю ли я этого человека? Переписывалась ли я с ним? Предлагала ли ему убить Кановаса? Мне пришлось разочаровать газетчиков. Я не была знакома с Анджиолилло и не поддерживала с ним никаких связей. Я знала одно: он действовал, пока остальные лишь рассуждали о страшных нарушениях закона.

Микеле Анджиолилло

Мы узнали, что Анджиолилло жил в Лондоне. Наши товарищи знали его как весьма пылкого юношу, студента, любителя музыки и книг; его страстью была поэзия. Пытки в Монжуике не могли оставить его равнодушным, и он решился убить Кановаса. Анджиолилло поехал в Испанию, ожидая застать премьер-министра в парламенте, но узнал, что тот отдыхает от своего «государственного труда» в Санта-Агеде — модном летнем курорте. Анджолилло отправился туда. Он почти сразу увидел Кановаса, но его сопровождали жена и двое детей. «Я мог убить его тогда, — сказал Анджиолилло на суде. — Но я не стал подвергать риску жизни невинных женщины и детей — моей целью был Кановас. Он один виноват в том, что творилось в Монжуике». Анджиолилло проник на виллу Кастильо, назвавшись журналистом консервативной итальянской газеты. Оставшись лицом к лицу с премьер-министром, он застрелил его. В комнату вбежала мадам Кановас и ударила Анджиолилло по лицу. «Я не

хотел убивать вашего мужа, — попросил прощения тот. — Я целился лишь в чиновника, виновного в монжуикских пытках».

Аттентат Анджиолилло и его ужасная смерть живо напомнили мне июль 1892 года. Сашина Голгофа длилась уже пять лет. Как близко я стояла к тому, чтобы разделить его участь! Тогда безденежье не позволило мне сопровождать Сашу — не хватило каких-то несчастных пятидесяти долларов! Но можно ли оценить в такую сумму, да и оценить вообще все наши дальнейшие душевные страдания? И всё же Сашин поступок не был напрасен. Лично я перестала оценивать политические действия с точки зрения прагматики или пропагандистской ценности, как другие революционеры. Теперь для меня намного важнее казалась роль внутренних сил, которые подталкивают идеалиста к насильственным действиям, а часто — и заставляют его пожертвовать собственной жизнью. Я была уверена, что за каждым политическим действием подобной природы скрывается высокочувствительная личность, добрая душа. Такие люди не могут жить в довольстве, когда рядом царят нищета и несправедливость. Насильственный поступок — неизбежный выход для их истерзанных душ.

Несколько раз я выступала в Провиденсе без особых проблем. Ещё одним из немногих штатов, соблюдавших давнюю традицию свободы слова, оставался Род-Айленд. Два собрания под открытым небом прошли отлично, их посетили тысячи людей. Но полиция, судя по всему, готовилась сорвать последний митинг. Мы с друзьями приехали на площадь, где должно было состояться собрание, и увидели, что там уже выступает член Социалистической рабочей партии. Мы установили свою трибуну чуть подальше от него. Джон Кук — рабочий-активист, отличный товарищ — открыл собрание, и я начала говорить. К нам тут же с криками кинулся полицейский: «Хватит трепать языком! Сейчас же прекрати, или я вышвырну тебя с трибуны!» Я продолжала. Кто-то воскликнул: «Не обращай внимания на этого придурка, давай дальше!» Полицейский подошёл к нам, тяжело дыша после бега. «Ты что, глухая? — зарычал он. — Я сказал, заканчивай! Как ты смеешь не подчиняться закону?» «Ты, что ли, и есть закон? — отрезала я. — Я думала, твоя обязанность защищать закон, а не нарушать. Ты разве не знаешь, что закон в этом штате даёт мне право на свободу слова?» «Чёрта с два, — ответил полицейский. — Я здесь закон». Публика начала свистеть и улюлюкать. Полицейский бросился стаскивать меня с импровизированной трибуны… Его с угрожающим видом обступила толпа. Он задул в свисток, на площадь влетела полицейская карета, и несколько полицейских, размахивая дубинками, проложили себе путь через толпу. Офицер, державший меня, крикнул: «Оттесните чёртовых анархистов — надо вывести вот эту женщину. Она арестована». Меня провели к карете и буквально зашвырнули внутрь.

В участке я потребовала объяснить, почему прервали моё выступление. «Потому что ты Эмма Гольдман, — ответил сидящий за столом сержант. — У анархистов нет прав в этом городе, понятно тебе?» Он приказал закрыть меня в участке на ночь.

С 1893 года это был первый раз, когда меня арестовали, но я чувствовала, что рано или поздно опять попаду в лапы закона, и потому завела привычку носить с собой на митинги книгу, чтобы было чем заняться в четырёх стенах. Я подобрала юбки и вскарабкалась на помост, служивший в камере кроватью. Сквозь решётчатую дверь пробивался свет, я

прислонилась к ней и начала читать. Вскоре из соседней камеры до меня донёсся женский плач. «Что случилось? –прошептала я. — Тебе плохо?» Всхлипывающий женский голос ответил мне: «Мои дети! Мои дети остались без матери! Кто о них позаботится? У меня больной муж, что с ним станет?» Рыдания за стенкой усилились. «Слушай ты, пьяное быдло, хватит скулить!» — крикнула откуда-то надзирательница. Плач стих, и немного погодя я услышала, как женщина мечется по камере, словно зверь в клетке. Наконец она немного успокоилась, и я попросила её рассказать о себе — может быть, я смогу помочь? Оказалось, что она — мать шестерых детей, старшему четырнадцать лет, а самому младшему только-только исполнился год. Муж болел уже много месяцев и не мог работать. Она попала в участок за то, что стащила булку хлеба и бутылку молока из продуктового магазина, где когда-то работала. Женщина умоляла выпустить её на ночь, чтобы она могла успокоить семью, но офицер не разрешил ей даже послать домой записку. Её доставили в полицейский участок как раз тогда, когда кончился ужин. Надзирательница сказала, что еду можно заказать за отдельную плату. Женщина не ела уже сутки, ослабела от голода и очень переживала за семью, но денег у неё не нашлось.

Я вызвала надзирательницу и попросила принести мне ужин. Минут через пятнадцать она вернулась с подносом: грудинка с яйцами, горячая картошка, хлеб, масло и большой чайник кофе. Я дала ей два доллара и получила пятнадцать центов сдачи. «Хорошенькие у вас тут цены», — сказала я. «А ты думала, малышка, что мы тут разводим благотворительность?» Я заметила, что надзирательница в хорошем настроении, и попросила её отнести часть ужина моей соседке. Еду она передала, но не удержалась при этом от комментария: «Ты полная дура, раз столько отдаёшь какой-то там воровке».

На следующий день меня, соседку и прочих бедняжек повезли в магистрат. Я должна была оставаться в участке до внесения залога: требовалось какое-то время, чтобы собрать назначенную сумму. В час дня меня снова вызвали — на этот раз на встречу с мэром. Он оказался не менее грузным, чем тот одышливый полицейский. Мэр пообещал отпустить меня, если я дам клятву никогда не возвращаться в Провиденс. «Весьма любезно с вашей стороны, — ответила я, — но у вас на меня ничего нет, я правильно понимаю? В таком случае ваше предложение не так уж и великодушно». Я сказала, что не буду давать обещаний зря, но, пожалуй, могу его успокоить: дальше я собираюсь в лекционный тур по Калифорнии. «Это займёт три месяца или больше, сама не знаю. Но я думаю, что вы и ваш город не проживёте без меня так долго — я обязательно вернусь!» Мэр и его прихвостни зашумели, но всё же отпустили меня.

В Бостоне до меня дошла ужасная новость: двадцать один забастовщик был убит в Хэзлтоне, штат Пенсильвания. Они были шахтёрами и ехали в Латимер, чтобы убедить местных рабочих присоединиться к забастовке. Шериф со своим отрядом преградил им путь и приказал возвращаться в Хэзлтон — шахтёры отказались, и тогда по ним открыли огонь.

Газеты уверяли, что шериф действовал в пределах самообороны — ему угрожала толпа. Но среди полицейских не оказалось ни одного пострадавшего; в результате их действий погиб двадцать один рабочий и многие были ранены. Из репортажей явственно следовало, что шахтёры были безоружны и не собирались оказывать сопротивление. Повсюду убивают рабочих, повсюду одна и та же кровавая бойня! Монжуик, Чикаго, Питтсбург, Хэзлтон —

меньшинство вечно преступает закон и подавляет большинство. Людей миллионы, но как же они слабы! Нужно вывести их из ступора, показать им, как пользоваться силой. Я говорила себе, что скоро смогу достучаться до сердец по всей Америке. Своими пламенными речами я подтолкну их к борьбе за независимость! Я беспрестанно мечтала о своём первом великом туре и возможностях, которые он мне подарит для помощи Делу… Но вдруг мои фантазии прерывала мысль об Эде. Что ждёт наш союз? Моя любовь к человечеству только укрепит личные чувства, я ещё больше буду любить Эда. Он поймёт, он должен понять — он ведь сам предлагал, чтобы я уехала на время. Я думала об Эде с неизменной теплотой, но сердце моё трепетало от дурного предчувствия.

Эда не было рядом всего две недели, но я скучала по нему ещё больше, чем в Европе. Я в нетерпении подгоняла обратный поезд; наконец он остановился на центральном вокзале Нью-Йорка, где Эд встретил меня. Дома всё казалось новым, ещё более прекрасным и манящим. Любые слова Эда звучали для меня музыкой. В уюте нашего дома, объятиях любимого я наконец была защищена от внешних раздоров и конфликтов. Страстное желание поехать в долгий тур отступило перед очарованием Эда. Так в радости и забвении прошёл месяц, но моему блаженству быстро пришёл конец. Причиной тому стал Ницше. Я надеялась, что Эд прочитает те книги, что я привезла из Вены, но у него никак не находилось времени. Мне было грустно видеть, как равнодушен Эд к новой литературе. Вскоре мы собрали прощальную вечеринку у Юстуса. Там были Джеймс Ханекер88 и наш молодой друг — талантливый художник П. Елинек. Разговор зашёл о Ницще. Я легко включилась в беседу и с воодушевлением стала делиться своими впечатлениями от работ этого великого поэта-философа. Ханекер был несказанно удивлён. «Не думал, что вас интересует что-то кроме пропаганды», — отметил он. «Вы просто ничего не смыслите в анархизме, — ответила я. — Иначе вы бы знали, что нам интересны все сферы жизни. Мы низвергаем старые ценности, отжившие своё». Елинек заявил: он анархист в силу того факта, что он художник. Все творческие люди, полагал он, должны быть анархистами — так они получают свободу самовыражения. Ханекер настаивал, что искусство не имеет ничего общего с «измами». «Сам Ницше тому доказательство, — утверждал он. — Ницше — аристократ, его идеал — сверхчеловек, ему нет дела до обычных людей». Я заметила, что Ницше не социальный теоретик, как можно подумать после таких слов, а поэт, бунтарь и инноватор. Он аристократ не от рождения и не из-за кошелька — он аристократ по духу. В этом отношении Ницше — анархист, а все подлинные анархисты — аристократы. Тут со сдержанным холодом заговорил Эд, и я почувствовала, что сейчас разразится буря. «Ницше — дурак, — сказал он. — Человек с больным разумом. Он с рождения был обречён на слабоумие, и в конце концов оно его и поглотило. Не пройдёт и десяти лет, как его забудут, и остальных псевдосовременников тоже. Они все просто шарлатаны, если сравнивать с настоящими великими людьми прошлого». «Но ты же не читал Ницше! — горячо возразила я. — Как ты можешь судить о нём?» «А вот и читал, — резко ответил он. — Я уже давно прочитал те глупые книжки, которые ты привезла». Я была ошеломлена. Ханекер и Елинек повернулись к Эду, но я была слишком шокирована, чтобы продолжать дискуссию. Эд знал, как для меня важны эти книги, как я надеялась, что и он признает их ценность и значимость. Как он мог заставлять меня нервничать и молчать после того, как всё прочитал? Конечно, у него есть право на собственное мнение. Не наш спор тронул меня до глубины души, а насмешки над моими идеалами. Ханекер, Елинек — незнакомцы, по большему счёту — приветствовали мою открытость новым веяниям, а любимый человек выставил меня перед ними глупой, инфантильной, неспособной мыслить самостоятельно. Мне хотелось

убежать прочь, побыть одной, но я сдержала себя — ссориться с Эдом при всех я бы не смогла. Мы возвращались домой поздней ночью. Эд сказал: «Давай не будем портить прекрасные три месяца. Ницше того не стоит». Мне будто всадили нож в сердце. «Виноват не Ницше, а ты! Ты! — яростно воскликнула я. — Ты прикрывался большой любовью, чтобы привязать меня к себе, украсть всё, что мне важно. Тебе мало того, что ты связал моё тело — ты хочешь ещё и сковать мою душу! Движение, друзья, книги… Ты хочешь оторвать меня от них. Ты погряз в старье. Прекрасно, оставайся там! Но не мечтай, что я тоже останусь. Ты не обрежешь мне крылья, не остановишь мою борьбу. Я освобожусь, даже если мне придётся вырвать тебя из сердца». Эд стоял, опершись о дверь своей комнаты, закрыв глаза — он делал вид, что не слышит ни слова. Но мне уже было всё равно. Я зашла к себе, моё сердце словно опустело. Последние дни вместе были натянуто спокойными, даже дружелюбными — Эд помогал мне готовиться к отъезду. На вокзале он обнял меня. Он явно хотел что-то сказать, но промолчал. Я тоже не могла говорить. Когда поезд тронулся и Эд растаял вдали, я поняла, что наша жизнь больше никогда не будет прежней. Моя любовь испытала слишком серьёзное потрясение. Теперь она как треснутый колокольчик, который никогда уже не зазвенит ясно и радостно.

Версия #1
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ создал 17 апреля 2025 03:47:08
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ обновил 17 апреля 2025 03:49:54